

Владимир Соловьев

Поэзия графа А.К. Толстого.
Алексей Толстой, как и Ф. И. Тютчев, принадлежит к числу поэтов-мыслителей; но в отличие от Тютчева – поэта исключительно созерцательной мысли, – гр. А. К. Толстой был поэтом мысли воинствующей поэтом-борцом. Конечно, не в смысле внешней практической борьбы. Всякий истинный поэт невольно повинуется запрету, выраженному Пушкиным: "не для житейского волнения, не для корысти, не для битв" {1}... Но, оставляя в стороне житейские и корыстные битвы, поэт, "рожденный для вдохновения", может вдохновляться и на борьбу – достойную поэтического вдохновения. Наш поэт боролся оружием свободного слова за право красоты, которая есть осязательная форма истины, и за жизненные права человеческой личности.

Сам поэт понимал свое призвание как борьбу:

Господь, меня готовя к бою,
Любовь и гнев вложил мне в грудь,
И мне десницею святою

Он указал правдивый путь... {2}

Но именно потому, что путь, указанный поэту, был правдивый, и борьба на этом пути была борьбою за высшую правду, за интересы безусловного и вечного достоинства; она возвышала поэта не только над житейскими и корыстными битвами, но и над тою партийною борьбой, которая может быть бескорыстною, но не может быть правдивою, ибо она заставляет видеть все в белом цвете на своей стороне – и все в черном на стороне враждебной; а такого равномерного распределения цветов на самом деле не бывает и не будет – по крайней мере до Страшного суда.

122

По чувству правды, Толстой не мог отдаться всецело одному из враждующих станом, не мог быть партийным борцом – он сознательно отвергал такую борьбу:

Двух станом не боец, но только гость случайный,
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,
Но спор с обоими – досель мой жребий тайный,
И к клятве ни один не мог меня привлечь;

Союза полного не будет между нами

Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя,
Пристрастной ревности друзей не в силах снести,
Я знамени врага отстаивал бы честь! {3}

II

Для характеристики и оценки поэта очень важен вопрос об отношении его собственной сознательной мысли к его делу: как он понимал и за что принимал поэзию? С этой точки зрения все поэты нашего века (я ограничиваюсь здесь одними русскими и из них только почившими) распределяются на три естественные группы. Первая достаточно обозначается одним именем – Пушкина. Здесь отношение мысли к творчеству – непосредственное, органическое, – в процессе творчества сознание не отделяется от самого дела, – нет никакого раздвоения в поэтической деятельности. Как чистый поэт, поэт-художник по преимуществу, Пушкин прямо дает нам совершенные образцы красоты, не тревожась общим вопросом: что такое поэтическая красота, как она относится к жизни, какое ее место и значение во вселенной? Не то чтобы поэт вовсе не думал и не говорил о своем деле. Но это были случайные, преходящие мысли по поводу поэзии, а не окончательный отчет сознания об ее сущности и значении. Несмотря на свой – правда, поверхностный – байронизм, Пушкин никогда не сомневался в правах красоты и поэтического мировоззрения, а потому и не давал себе ясного отчета об этих правах. Он и не брал совсем этого вопроса в его общности и глубине. Лишь мимоходом указывал он на различные внешние признаки словесного творчества.

Поэтическое вдохновение, по свидетельству Пушкина, есть нечто особенное или исключительное, не сливающееся с повседневною жизнью. Драгоценное показание великого поэта о процессе творчества, важный факт психологического опыта имеем мы в известных стихах: "Пока не требует поэта – К священной жертве Аполлон, – В заботах суетного света – Он малодушно погружен..." – "Но лишь божественный глагол – До слуха чуткого коснется, – Душа

123

Соловьев В. Поэзия графа А.К. Толстого filosoff.org
поэта восторгается, - Как пробудившийся орел"... {4} Но, принимая это "показание эксперта" во всей его силе и значении, мы не можем, однако, сказать, чтобы здесь выражалась самая сущность поэзии. Не выражается она и в тех стихах, где поэт отвергает ложное в деле поэзии требование практической пользы: "Не для житейского волненья, - Не для корысти, не для битв, - Мы рождены для вдохновенья, - Для звуков сладких и молитв"... Все признаки верные, но слишком широкие и внешние: вдохновение бывает разное, и не одна поэзия есть плод вдохновения; сладкие звуки свойственны музыке еще более, чем поэзии; не всякая молитва поэтична, и не всякая поэзия имеет молитвенный характер. Ни каждый из этих признаков в отдельности, ни все они вместе не определяют сущности поэзии. Сам Пушкин не принимал своих указаний в слишком строгом смысле и не боялся им противоречить, когда, например, в "Памятнике" он объясняет общественную пользу своей поэзии: "Что чувства добрые он лирой пробуждал, - Что в сей жестокий век я прославлял свободу - И милость к падшим призывал"... {5} И это прекрасно, но опять-таки не в этом собственный смысл поэзии. Для понимания этого смысла лучше нам обращаться к тому, что Пушкин создал в поэзии, чем к тому, что он о ней говорил, - слова его могут иногда вводить в заблуждение, например: "Тьмы низких истин мне дороже - Нас возвышающий обман"... {6} Из этих слов, сказанных по поводу поэтического вымысла, выдававшегося за историческое событие, можно бы, пожалуй, заключить, что поэзия была в глазах Пушкина обманом, хотя возвышающим и дорогим; что он допускал возможность для истины быть низкой, и что он предпочитал обман истине. Но было бы несправедливо искать точных мыслей и определений в случайных заметках поэта, который сам не относился серьезно к своим рефлексиям и не смешивал их с "божественным глаголом". В одном стихотворении он высказывает скептическую мысль, что жизнь есть "дар напрасный, дар случайный", неведомо кем и зачем данный человеку; но когда известный архипастырь основательно опроверг эту мысль - тоже в стихах, Пушкин спешит с раскаянием от нее отказаться и сочиняет другое стихотворение, где признает первое только за "изнеженные звуки безумства, лени и страстей" {7}. Ясно, что по крайней мере одно из этих двух противоречащих друг другу произведений, а вернее - оба созданы поэтом не по требованию Аполлона и не у его жертвенника. Все это не важно, когда дело идет о Пушкине. Он потому

124

и есть несравненный представитель органического творчества среди наших поэтов, что все субъективные грехи его мысли оказались бессильными разложить живую цельность его поэзии. Все это - только посторонняя примесь, которую ничего не стоит отделить от настоящего поэтического дела. Когда высший голос требовал его к священной жертве, он вместе с "заботами суетного дня" бросал и всякую рефлексию. Она не была составною частью его поэтической организации, а скорее ее можно сравнить с теми башмаками, в которых правоверные гуляют по улицам, но оставляют их у входа в храм. Древние греки и римляне, как известно, раскрашивали свои статуи. Это было довольно безвкусно и во всяком случае излишне, но не изменяло совершенства скульптурной формы; такова же рефлексия - байроническая и иная, - которая, к сожалению, местами окрашивает эту поэзию: наложенная рассудком, эта примесь биографическое и историческое значение. Между тем были и еще встречаются люди, которые из-за этой посторонней примеси кощунственно объявляют саму поэзию Пушкина плоскою и бессодержательною, тогда как другие, напротив, не ограничиваясь справедливым благоговением перед этою поэзией и восхищаясь всякою фразой поэта, признают его за великого мыслителя, каким он никогда не был и по натуре своей быть не мог. На самом деле его рефлексия, это - пыль на чудесном алмазе; она не уменьшает его цены, но все-таки лучше стереть ее, а не восхищаться ею.

Совсем иное значение имеет рефлексия у поэтов второй группы - с Баратынским и Лермонтовым во главе. Здесь рефлексия проникает в самое творчество и как постоянный, пребывающий и преодолевающий элемент в сознании поэта разлагает цельность его воззрения и подрывает его художественную деятельность.

Критическое, отрицательное отношение к собственной жизни и к окружающей среде - отношение более или менее справедливое при данных условиях личных и общественных - обманчиво возводится здесь на степень безусловного принципа и становится господствующим настроением самой поэзии. От

бессодержательности своей жизни, заключая к жизни вообще, эти поэты находят, что у нее нет смысла и цели; но в таком случае и поэзия, как высший цвет жизни, есть бессмысленный обман, и в конце всего остается только "пустая и глупая шутка" {8}. То, что у Пушкина было выражением мимолетного настроения, от которого он сам был готов сейчас же отказаться, то у Лер

125

Соловьев В. Поэзия графа А.К. Толстого filosoff.org
монтова принимает вид окончательного убеждения. Его стихотворение: "И скучно и грустно", если смотреть со стороны, конечно, есть только слабое повторение Пушкинской "бутады", но сам Лермонтов придавал содержанию этих посредственных стихов трагическую важность и наверное не отказался бы от них при вмешательстве особ духовного звания.
Если бы отрицательная точка зрения, на которую стали эти поэты разочарования, была окончательным выводом правильного мышления, тогда действительно пришлось бы отказаться от поэзии, как от обмана. На самом деле и Баратынский, и Лермонтов, при весьма значительном, хотя и подорванном рефлексией поэтическом таланте, были не столько мыслителями, сколько резонерами на почве субъективных впечатлений. Но заключение от собственной зубной боли к негодности всего мироздания не оправдывается логикой. Из двух названных поэтов у Баратынского, как ума более развитого и зрелого, разочарование имеет хотя некоторую видимость объективных оснований. Подобно большинству образованных людей нашего века, Баратынский принял материалистические обобщения некоторых научных данных за непреложную истину и, видя противоречие этой "истины" с поэтическим и религиозным воззрением на мир и жизнь, решил, что это воззрение есть иллюзия. Таков, хотя ошибочный, но заслуживающий уважения мотив его тоски – не единственный, но лучший. Лермонтов в свою короткую жизнь не успел додуматься ни до чего подобного, и все его разочарование происходило исключительно из неприятных впечатлений от окружающей действительности, т. е. от светского общества в Петербурге, в Москве и в Пятигорске. Несмотря на такую неосновательность, разочарованная поэзия явилась недаром. Субъективная неудовлетворенность имеет огромное значение, как первый толчок к работе сознания и мышления. Кто доволен, тот не идет дальше; отрицательный момент необходим, ненормальна и бессмысленна только остановка на нем, т. е. удовлетворение своею неудовлетворенностью, – к чему так склонны многие скептики и пессимисты.
Будущность русской поэзии зависела от того, хватит ли у наших поэтов силы мысли, чтобы идти дальше субъективного отрицания. Дорога назад была заказана. Раз мысль возбудилась, вопросы возникли, нельзя уже было просто вернуться к прежней художественной непосредственности, к органическому творчеству Пушкина. Тютчев сказал про него: "Тебя, как первую любовь, России сердце не забуду"

126

дет" {9}. Именно так: нельзя забыть, но и нельзя повторить!
Невозможно сознанию отказаться от рефлексии, раз она явилась, – нужно только довести ее до конца. Противоречия, возбужденные мыслью, должны быть разрешены ею же; и жизненность русской поэзии доказана тем, что она не остановилась на разочарованности Баратынского и Лермонтова, что после них явились поэты положительной мысли, сознательно понимавшие значение красоты в мире, примирявшие ум с творчеством и оправдывавшие поэзию как выражение истины. Глубокого и своеобразного представителя этого третьего рода, который можно назвать поэзией гармонической мысли, – мы находим у Тютчева; сюда же, несомненно, принадлежит по основе своего миропонимания и Алексей Толстой, присоединяющий к этой общей умственной основе, как свою отличительную особенность, элемент деятельной воли и борьбы, почти отсутствующий в поэтических произведениях Тютчева. Этот боевой элемент в поэзии Толстого действует до некоторой степени в ущерб силе и чистоте творчества, но зато делает его более разнообразным, ярким и доступным.

III

Наш поэт называет себя "певцом, державшим стяг во имя красоты" {10}. Он был не только мирным ее жрецом, но и воинственным рыцарем. Не ограничиваясь спокойным отражением того, что являлось из "страны лучей", его творчество определялось еще движениями воли и сердца как реакция враждебным явлениям: Воспрянул я, и, негодуя,

Стихи текут. Так в бурный день

Прорезав тучи, луч заката

Сугубит блеск своих огней.

И так река, скалами сжата,

Бежит сердитой и звучней {11}.

Приняв сознательную верою высший смысл жизни, ощутительное выражение которого есть красота, поэт возмущался всем, что отрицало или оскорбляло этот смысл, и смело шел за него против течения:

Правда все та же! Средь мрака ненастного

Верьте чудесной звезде вдохновения,

Дружно гребите во имя прекрасного

Против течения!

127

Други, гребите! Напрасно хулители

Мнят оскорбить нас своею гордынею.

На берег вскоре мы, волн победители,
Выйдем торжественно с нашей святынею,
Верх над конечным возьмет бесконечное,
Верю в наше святое значение
Мы же возбудим течение встречное
Против течения! {12}

Свой идеал поэта Толстой олицетворял в историческом образе Иоанна Дамаскина, которому посвящено его первое значительное произведение. Созданный для жизни духа, Иоанн не выносит мирской суеты, но его духовная потребность влечет его не к созерцанию только, а и к борьбе:

И раздавался уж не раз
Его красноречивый глас
Противу ереси безумной,
Что на искусство поднялась
Грозой неистовой и шумной.
Упорно с ней боролся он,
И от Дамаска до Царьграда
Был, как боец за честь икон
И как художества ограда,
Давно известен и почтен {12}.

На первый взгляд может показаться, что Толстой впадает в анахронизм, приписывая Иоанну Дамаскину и его современникам заботы об интересах художества. Но, ставши на точку зрения нашего поэта, мы увидим, что он обнаружил здесь очень верное и глубокое понимание дела. Ведь и собственный его интерес к искусству не был отвлеченно-техническим: и он видел в нем более, чем изящную и приятную внешность. Красота была для него дорога и священна как сияние вечной истины и любви:

Когда Глагола творческая сила
Толпы миров воззвала из ночи,
Любовь их все как солнце озарила,
И лишь на землю к нам ее светила
Нисходят порознь редкие лучи.
И, порознь их отыскивая жадно,
Мы ловим отблеск вечной красоты:
Нам вестью лес о ней звучит отрадной,
О ней поток гремит струею холодной
И говорят, качался, цветы {14}.

Вопрос о значении красоты сводится к вопросу: возможно ли полное, окончательное выражение высшего совершенства или реальное, осязательное воплощение абсолютного в определенных формах? Но это есть тот самый вопрос,

128

которым занимались и на которые отрицательно отвечали иконоборцы. Они говорили, что осязательное выражение абсолютного невозможно, настаивали на том, что божество неопишимо, и на этом основании отвергали иконы. Здесь, несомненно, отрицался, хотя и бессознательно, самый принцип красоты и истинное значение художества. На той же точке зрения стоят те, которые считают все эстетическое областью вымысла и праздной забавы. Таким образом, Толстой не ошибся: то, за что он боролся против господствовавшего в его время течения, было, в сущности, то самое, за что Иоанн Дамаскин и его сторонники стояли против иконоборчества {15}.

IV

Истинный источник поэзии, как и всякого художества, - не во внешних явлениях и также не в субъективном уме художника, а в самобытном мире вечных идей или первообразов:

Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку.

О, окружи себя мраком, поэт, окружися молчаньем,
Будь одинок и слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен,
Слух же душевный сильнее напрягай и душевное зренье,
И как над пламенем грамоты тайной бесцветные строки
Вдруг выступают, так выступают вдруг пред тобою картины,
Выйдут из мрака все ярче цвета, осязательной формы,
Стройные слов сочетания в ясном сплетутся значенье,
Ты ж в этот миг и внимай, и гляди, притаивши дыханье,
И, созидая потом, мимолетное помни виденье! {16}

Красота в явлениях внешнего мира есть только отражение той самобытной и вечной красоты:

И все сокровища природы,

Степей безбережный простор,
Туманный очерк дальних гор,
И моря пенистые воды,
Земля, и солнце, и луна,
И всех созвездий хороводы,
И синей тверди глубина,
То все одно лишь отраженье,
Лишь тень таинственных красот,
Которых вечное виденье
В душе избранника живет {17}.
Такой избранник может и должен быть слеп для внешнего мира, чтобы тем
полнее отдаваться владеющему им духу.

129
Истинный художник не волен над своим творчеством. Причастный божеству, он
одинок в толпе и окружен в безлюдье и, как божество, дает всем от избытка
внутренней жизни, не ожидая взаимности. Такова идея превосходной по
содержанию и только местами несколько растянутой баллады "Слепой".
Князь с дружиной, охотясь в лесу, останавливается для полуденного отдыха и
велит позвать из соседней деревни убогого слепого певца. Когда тот
приходит, охотники уже отдохнули и уехали; не замечая их отсутствия, слепой
вдохновляется и поет до вечера, а когда узнает, что пел один, то нисколько
этим не смущается:

Воистину, если б очей моих ночь
Безлюдья от них и не скрыла,
Я песни б не мог и тогда перемочь,
Не мог от себя отогнать бы я прочь,
Что душу мою охватило.
Пусть по следу псы, заливаясь, бегут,
Пусть ловлю князь у доволен;
Убогому петь не тяжелый был труд,
А песня ему не в хвалу и не в суд,
Зане он над нею не волен.
Охваченный ею не может молчать,
Он раб ему чуждого духа,
Вожглась ему в грудь вдохновенья печать,
Неволей иль волей - он должен вещать,
Что слышит подвластное ухо.
Не ведает горный источник, когда
Потоком он в степи стремится,
И бьет и кипит его, пенясь, вода,
Придут ли к нему пастухи и стада
Струями его освежиться?.. {18}

У

Вдохновенный художник, воплощая свои созерцания в чувственных формах, есть
связующее звено или посредник между миром вечных идей или первообразов и
миром вещественных явлений. Художественное творчество, в котором
упраздняется противоречие между идеальным и чувственным, между духом и
вещью, есть земное подобие творчества божественного, в котором снимаются
всякие противоположности, и божество проявляется как начало совершенного
единства, - "единства себя и своего другого":

Едино, цельно, неделимо,
Полно созданья своего,
Над ним и в нем, невозмутимо,

130
Царит от века Божество.
Осуществилось в нем ясно,
Чего постичь не мог никто:
Несогласимое согласно,
С грядущим прошлое слито,
Совместно творчество с покоем,
С невозмутимостью любовь,
И возникают вечным строем
Ее созданья вновь и вновь.
Всемирным полная движеньем,
Она светилам кажет путь,
Она нисходит вдохновеньем
В певца восторженную грудь;
Цветами рдея полевыми,
Звуча в паденье светлых вод,
Она законами живыми
Во всем, что движется, живет.

Всегда различна от вселенной,
Но вечно с ней соединена,
Она для сердца несомненна,
Она для разума темна {19}.

"Разумом" называется здесь односторонне-аналитический рассудок. Настоящий, умозрительный разум не находится в противоречии с сердцем. С твердостью мысли, которая сделала бы честь любому метафизику и богослову, наш поэт проводит идею всеединого Божества между Сциллою и Харибдою пантеизма и дуализма {20}.

Бог один есть свет без тени,
Нераздельно в нем слита
Совокупность всех явлений,
Всех сияний полнота;
Но струящаясь от Бога
Сила борется со тьмой;
В нем могущества покой,
Вкруг него времен тревога.

Здесь устранена пантеистическая мысль о безразличии всего в Боге; но откуда же эта тьма и эта тревога, вызывающие силу Божью к действию и к борьбе?

Мирозданием раздвинут,
Хаос мстительный не спит:
Искажен и опрокинут,
Божий образ в нем дрожит;
И, всегда обманов полный,
На Господню благодать
Мутно плещущие волны
Он старается поднять.

Такая двойственность, несомненно, есть основной факт мировой жизни; но этим только возбуждается новый вопрос: каким образом действительность злого начала может быть

131

согласована с всеединством Божества? И тут мы находим у нашего поэта удовлетворительное решение – насколько оно возможно в пределах поэтической формы:

И усильям, духа злого
Вседержитель волю дал,
И свершается все снова
Спор враждующих начал.
В битве смерти и рожденья
Основало Божество
Нескончаемость творенья,
Мирозданья продолженье,
Вечной жизни торжество.

Торжество вечной жизни над смертью и свобода зла как условие еще большего блага – этим устраняется противоречие двух начал и оправдывается всеединство Божие.

VI

Торжество вечной жизни – вот окончательный смысл вселенной. Содержание этой жизни есть внутреннее единство всего, или любовь, ее форма – красота, ее условие – свобода.

Овладев сердцем поэта, любовь открылась ему как сущность всего существующего.

Меня, во мраке и пыли
Досель влачившего оковы,
Любови крылья вознесли
В отчизну пламени и слова;
И просветлел мой темный взор,
И стал мне виден мир незримый.
И слышит ухо с этих пор,
Что для других неуловимо,
И с горней выси я сошел,
Проникнут весь ее лучами,
И на волнующийся дол
Взираю новыми очами.
И слышу я, как разговор
Везде немолчный раздаётся,
Как сердце каменное гор
С любовью в темных недрах бьётся,
С любовью в тверди голубой
Клубятся медленные тучи,
И под древесною корой,

Весною свежей и пахучей,
С любовью в листья сок живой
Струей подымлетя певучей.
И вещим сердцем понял я,
Что все, рожденное от Слова,
Лучи любви кругом лия,
К нему вернуться жаждет снова.

132

И жизни каждая струя,
Любви покорная закону,
Стремится силой бытия
Неудержимо к Божью лону.
И всюду звук, и всюду свет,
И всем мирам одно начало,
И ничего в природе нет,
Что бы любовью не дышало {21}.

Но эта стихийная любовь, которую дышит все в природе, есть только стремление, только тяготение к вечному царству любви и красоты. Действительно и окончательно приобщиться к этому царству может только человеческая личность, так как совершенное соединение может быть только при сознательности и свободе. Для того-то и злему началу "Вседержитель волю дал", чтобы чрез борьбу с ним человек мог свободно достигнуть совершенства.

Без свободы и ясного сознания возможны многие блага для человечества возможна общая сытость, безопасность, всякие материальные наслаждения, - но все это блага низшего разряда, доступные и прочим животным, и довольствоваться ими недостойно человека. Истинно человеческое добро возможно, только когда человек приходит к нему сам, своею волею и сознанием принимает его. Сообщить человеку извне готовую истину, помимо его собственного мышления и опыта, - значило бы отнять внутреннее достоинство и у истины, и у человека. Если бы можно одарить людей как высшим благом готовым, извне обеспеченным благополучием, без их трудов и усилий, то этим бы только обнаружилось, что между счастливым человеком и сытым животным нет существенного различия. Но на самом деле оно есть. "Не влезешь силой в совесть никому, и никого не вгонишь в рай дубиной", - ибо совесть, и рай по принуждению для всякого человека, достойного этого имени, ничем не отличался бы от ада.

Доставить человеку совершенство помимо его собственного, свободного и сознательного участия - никому не возможно. Личная свобода, или свобода самоопределения, есть свойство, которое дает человеку безусловное значение в глазах Высшего существа.

VII

Божество вечно обладает полнотою совершенства, природа в своих формах отражает это совершенство и в своей жизни тяготеет к нему; человек свободным делом достигает его для себя. В этом процессе совершенствования, составля

133

ющем смысл человеческой жизни, естественно различаются два полюса. Человек есть, во-первых, самостоятельная особь, или индивидуальность, и, во-вторых, нераздельная часть всемирного целого. Соответственно этому единственный человек может не только совершенствовать самого себя (а чрез это косвенно и окружающую среду), но и прямо содействовать общему прогрессу того целого, к которому он принадлежит, сознательно ставя его предметом своей деятельности. Естественное условие для самосовершенствования есть половая любовь, восполняющая человеческую индивидуальность; реальное побуждение к участию в деле общего прогресса есть патриотизм (в широком смысле), т. е. чувство солидарности с известным собирательным целым - гражданскою общиной, народом, государством, религиозным союзом, - в благе которого исторически воплощается для отдельного человека благо всемирное.

Не только половая любовь имела свои корни в животном мире, но то же должно сказать и про патриотизм (у животных общественных и стадных). Судьба человека и человечества, наше возвышение над животностью зависит главным образом от очеловечения и одухотворения этих основных фактов жизни, от перерождения их из слепых инстинктов природы в сознательные принципы достойного существования. Преобладающая роль в этом деле естественно принадлежит духовным вождям человечества - поэтам и мыслителям.

В поэзии Алексея Толстого мотивы любви и патриотизма принадлежат к самым характерным и симпатичным. Только идеальная сторона любви выражена в его стихотворениях на эту тему. Любовь есть сосредоточенное выражение, - в личном живом сознании, - всемирной связи и высшего смысла бытия; чтобы быть верною этому своему значению, она должна быть единою, вечною и неразрывною:

Слиясь в одну любовь, мы цепи бесконечной
Единое звено,
И выше восходить в сияньи правды вечной
На врозь не суждено {22}.

Действительные условия земного существования далеко не соответствуют этому высшему понятию любви; поэт не в силах примирить этого противоречия, но и не хочет ради него отказаться от своего идеализма, в котором – высшая правда. Отсюда глубокая грусть, которую отмечены все его любовные стихотворения, несмотря на общее преобладание бодрого, или, как он выражается, мажорного, тона в его поэзии. Вполне господствует этот мажорный тон в его истори-ко-патриотических стихотворениях.

134

VIII

Патриотизм – природное чувство, заставляющее нас жить и действовать для блага того собирательного целого, к которому мы принадлежим. Само чувство решает в каждом случае, какое именно из многих собирательных целых, к которым я так или иначе принадлежу или примыкаю, имеет на меня преимущественные верховные права. Безусловного правила на этот счет установить невозможно; как, например, решить, что есть высшее целое для образованного эльзасца-католика: Франция, германская империя, католическая церковь или европейская культура? Но при обыкновенных условиях вопрос фактически решается без затруднений. Для огромного большинства людей нашего времени собирательное целое, за которым их собственное чувство признает верховные права, есть отечество, т. е. кристаллизовавшаяся в государственную форму народность или группа народностей: это целое, преимущественно перед всеми другими, есть настоящий предмет патриотизма (в точном смысле слова) и вытекающего из него гражданского долга.

Но если нет для нас сомнений в том, что мы должны жить и действовать для блага своего отечества, – в нашем случае, России, – то этим еще несколько не решается самый главный и важный вопрос: в чем же благо моего отечества и что я должен делать, чтобы служить ему. Только при крайнем слабоумии и невежестве или же при крайней недобросовестности можно утверждать, что естественное стихийное чувство патриотизма само по себе достаточно, чтобы давать должное направление патриотической деятельности. На самом деле патриотизм, как и всякое натуральное чувство, может быть источником и добра, и зла. Вся история свидетельствует, что государства и народы как спасались патриотами, так от "патриотов" же и погибали. Что может быть сильнее того патриотизма, который заставлял персидских вельмож чинными рядами бросаться в море, чтобы спасти корабль Ксеркса? Но такой патриотизм, будучи сопряжен с рабским духом, не спас, а погубил персидское царство. Разве не патриотизм одушевлял тех парижан, которые ликовали при объявлении войны Германии и кричали: "a Berlin, a Berlin*"? Но этот патриотизм оказался и предвестием и причиной национального бедствия {24}. * На Берлин! (фр.) – Ред.

135

Сверх силы непосредственного чувства нужно еще патриотическое сознание, различающее истинное благо отечества от кажущегося и ложного. Это сознание имеет различные степени, допускающие сравнительно лучшую оценку. Мы можем сказать, что та степень патриотического сознания, которая выражается у нашего поэта, до сих пор остается высшею сравнительно с господствующими чувствами и представлениями.

Истинный патриотизм заставляет желать своему народу не только наибольшего могущества, но – главное – наибольшего достоинства, наибольшего приближения к правде и совершенству, т. е. к подлинному, безусловному благу. Это благо, согласно миросозерцанию нашего поэта, определяется окончательно как единство в свободной полноте живых сил. Свободное достижение такого совершенного состояния есть смысл человеческого существования.

Соответственно этому – подвижная прогрессирующая жизнь общества и народа, основанная на свободе всех положительных сил, в пределах общего государственного единства, воплощающегося в свободной нравственной личности государя, – вот патриотический идеал нашего поэта. Прямая противоположность такому идеалу – насильственное, нивелирующее единство, подавляющее всякую частную особенность и самостоятельность.

Со всю живостью поэтического представления и со всю энергией борца за идею Толстой славил, в прозе и стихах, свой идеал истинно русской, европейской и христианской монархии и громил ненавистный ему кошмар азиатского деспотизма. Начало истинного национального строя он находил в киевской эпохе нашей истории; осуществление противоположного принципа он видел в периоде московского государства, к которому относился с яростной враждой. "Моя ненависть к московскому периоду, – пишет он в одном

Соловьев В. Поэзия графа А.К. Толстого filosoff.org
письме, есть моя идиосинкразия... Моя ненависть к деспотизму – это я сам"
{25}.

Этот взгляд на двойственность начал в русской истории составляет общий тон всего, что Толстой написал на исто-рико-патриотические темы. Самое прямое и цельное выражение своей патриотической идее он дал в оригинальной балладе "Змей-Тугарин" (Полное собрание стихотворений, т. II, стр. 234. СПб., 1876)
{26}.

136

IX

Киевский князь Владимир с дружиною и множеством горожан пирует на берегу Днепра. Он любит слушать песни, и вот на его вызов из задних рядов пирующих выступает певец чудовищного вида:

Глаза словно щели, растянутый рот,
лицо на лицо не похоже,

И выдались скулы углами вперед;

И ахнул от ужаса русский народ:

Ай рожа, ай страшная рожа!

Певец начинает песню, в которой пророчит монгольское иго. Владимир и его гости встречают это пророчество громким смехом:

Певец продолжает: "Смешна моя весть

И вашему уху обидна?

Кто мог бы из вас оскорбление снесть!

Бесценное русским сокровище честь,

Их клятва: да будет мне стыдно!

На вече народном вершится их суд,

Обиды смывает с них поле

Но дни, погодите, иные придут,

И честь, государи, заменит вам кнут,

А вече – каганская воля!"

"Стой, – молвил Илья, – твой хоть голос и чист,

Да песня твоя непригожа!

Был вор-Соловей, как и ты, голосист,

Да я пятерней приглушил его свист

С тобой не случилось бы то же!"

Певец продолжает: "И время придет:

Уступит наш хан христианам,

И снова подыметесь русский народ,

И землю единый из вас соберет,

Но сам же над ней станет ханом.

И в тереме будет сидеть он своим,

Подобен кумиру средь храма,

И будет он спины вам бить батожем,

А вы ему стукать да стукать челом

Ой, срама, ой, горького срама!"

"Стой, – молвит Попович, – хоть дюжий твой рост,

Но слушай, поганая рожа:

Зашла раз корова к отцу на погост,

Махнул я ее через крышу за хвост

Тебе не было бы того же!"

Но тот продолжает, ослабивши пасть:

"Обычай вы наш переймете,

На честь вы поруху научитесь класть,

И вот, наглотавшись татарщины всласть,

Вы Русью ее назовете!

И с честной поссоритесь вы стариной,

137

И предкам великим на сором,

Не слушаясь голоса крови родной,

Вы скажете: станем к варягам спиной,

Лицом повернемся к Обдорам!"

При этих словах богатырь Добрыня узнает в певце поганого Змея-Тугарина и натягивает лук, чтобы выстрелить в него, но тот принимает свой настоящий змеиный вид и уплывает по Днепру.

Смеется Владимир: "Вишь выдумал нам

Каким угрожать он позором!

Чтоб мы от Тугарина приняли срам!

Чтоб спины подставили мы батогам!

Чтоб мы повернулись к Обдорам!

Нет, шутишь! Живет наша русская Русь,

Татарской нам Руси не надо!

Солгал он, солгал, перелетный он гусь:

За честь нашей родины я не боюсь!
Ой, ладно, ой, ладушко-ладо!
А если б над нею беда и стряслась.
Потомки беду перемогут!
Бывает, - промолвил свет-солнышко князь,
Неволя заставит пройти через грязь,
Купаться в ней свиньи лишь могут!
Подайте ж мне чару большую мою,
Ту чару, добытую в сече,
Добытую с ханом хозарским в бою
За русский обычай до дна ее пью,
За древнее русское вече!
За вольный, за честный славянский народ,
За колокол пью Новограда,
И если он даже во прах упадет,
Пусть звон его в сердце потомков живет
Ой, ладно, ой, ладушко-ладо!
Я пью за варягов, за дедов лихих,
Кем русская сила подъята,
Кем славен наш Киев, кем грек приутих.
За синее море, которое их,
Шумя, принесло от заката!"
И выпил Владимир, и разом кругом,
Как плеск лебединога стада,
Как летом из тучи ударивший гром,
Народ отвечает: "За князя мы пьем
Ой, ладно, ой, ладушко-ладо!
Да правит по-русски он русский народ,
А хана нам даром не надо!
И если настанет година невзгод,
Мы верим, что Русь их победно пройдет
Ой, ладно, ой, ладушко-ладо!"

138

Ясно, что с исторической точки зрения идея киевского Ормузда и московского Аримана не выдерживает критики {27}. И киевская Русь далеко не была идеальным царством света, и татарско-московский период вовсе не был такою бессмысленною напастью, такою, неведомо зачем, надвинувшейся тучей, какою представлялся он Толстому. Коренной порок древнего южнорусского строя был виднее автору "Слова о полку Игореве", нежели автору "Змея-Тугарина". Недостаток прочной государственной организации, отсутствие единовластия делало киевскую Русь беззащитною против окружающих диких орд, отнимало у нее историческую жизнеспособность. Народное вече может казаться красивым издалека, но на самом деле это было лишь разновидностью междоусобной войны, и поэтический колокол Новгорода призывал обыкновенно не к гражданским подвигам, а просто к рукопашному бою.

Впрочем, наш поэт в других случаях и сам более правильно относится к киевской Руси. Так, в стихотворении "Чужое горе" {28}, где Россия представляется в виде богатыря, несущего на себе тягость разных исторических грехов, - вместе с "горем" царя Ивана и "татарским горем" поминается также и "Ярославское горе", т. е. именно то горе политической розни и многоначалия, которое сокрушило киевскую Русь.

Как организм высшего порядка не может, подобно какой-нибудь губке или какому-нибудь моллюску, оставаться без твердой и определенной формы, так великая историческая нация не может обойтись без крепкого объединенного государственного строя. Создание этого строя было делом московского периода, делом совершенно необходимым даже независимо от татар. Татарское нашествие было только окончательным наглядным обличением несостоятельности киевских порядков или беспорядков, а никак не причиною создания московского государства: и хронологически киевская Русь стала приходить в явный упадок и бессилие, и северное единодержавие стало складываться (в суздальской области) - раньше татар.

Московский период вполне оправдывается с исторической точки зрения, но дело в том, что сама эта точка зрения не есть высшая и окончательная. Если я понимаю смысл известного исторического явления, т. е. его необходимость при данных условиях и в данное время, это никак не дает мне права возводить это явление в принцип и в идеал.

139

Против идеализации московского периода, против стремления увековечить его дух - осуждение его нашим поэтом получает во всю силу высшей правды. Оправдывается также и предпочтение киевской Руси - не за ее "вече", конечно, и еще менее за ее "поле", в котором, во-первых, не было ничего

Соловьев В. Поэзия графа А.К. Толстого filosoff.org
хорошего и которое, во-вторых, сохранялось и в московский период (как описывается самим Толстым в "Князе Серебряном"). Но были у киевской Руси действительные преимущества, хотя они и оставались там только в зародыше. Совершенно независимо от тех обстоятельств, которые принудили Россию перейти от "киевского" строя к "московскому", и вообще независимо от каких бы то ни было политических форм стоит вопрос о тех нравственных началах жизни, в осуществлении которых – окончательный смысл истории. Эти начала вошли в Россию при ее крещении, и спрашивается: где они сильнее чувствовались и вернее понимались: в Киеве X-XII веков или в Москве XVI и XVII? Кто был ближе к идеалу христианского государя: Владимир Св. и Владимир Мономах, которых совесть не мирилась с казнью преступников, или Иван IV, который так легко совмещал усердное благочестие с массовыми избиениями и утонченными терзаниями невинных людей? Тут дело вовсе не в личной жестокости: ею вовсе не отличались такие цари, как Алексей Михайлович и Федор Алексеевич, однако и при них не прекращались свирепые казни действительных и мнимых преступников (напр., сожжения старообрядцев). Ясно, что московская эпоха, какова бы ни была ее историческая необходимость в других отношениях, сопровождалась полным затемнением нравственного сознания, решительным искажением духовного образа человеческого, если не в страдательной массе народной, то в верхних слоях, отдавших всецело грубому деланию внешней истории. Задача истинного патриотизма – не возвеличивать это тяжелое и мрачное прошлое, а стараться об окончательном искоренении из нашей жизни всех остатков и следов пережитого озверения: Неволя заставит пройти через грязь, Купаться в ней – свиньи лишь могут. Как патриот-поэт, Толстой был вправе избрать не историческую, а пророческую точку зрения. Он не останавливался на материальных необходимостях и условиях прошедшего, а мерял его сверху – нравственными потребностями настоящего и упованиями будущего. И тут он не ошибался. Для

140

нашего настоящего духовного исцеления и для наших будущих задач нужны нам, конечно, не монгольско-византийские предания московской эпохи, а развитие тех христианских и истинно национальных начал, что как бы было обещано и предсказано светлыми явлениями киевской Руси.

XI

А. Толстой был поэт-борец. Но это была не та борьба, которая отнимает у человека духовную свободу, делая его рабом какой-нибудь, хотя бы и великой, но все-таки внешней цели. Для кого высшая цель борьбы есть правда Божия, всеобъемлющая и над всем возвышающаяся, тот – свободен возвыситься и над самую борьбу в уверенном сознании окончательного примирения. Наш поэт не раз в своей жизни знал минуты такого высшего успокоения, но с полной ясностью оно далось ему перед концом и выражено в стихотворении, составляющем прекрасный заключительный аккорд всей его деятельности:

Земля цвела. В лугу, весной одетом,
Ручей меж трав катился, молчалив;
Был тихий час меж сумраком и светом,
Был легкий сон лесов, полей и нив;
Не оглашал их соловей приветом;
Природу всю широко осеняв,
Царил покой; но под безмолвной тенью
Могучих сил мне слышалось движенье.
Не шелестя над головой моей,
В прозрачный мрак деревья улетали;
Сквозной узор их молодых ветвей,
Как легкий дым, терялся в горней дали;
Лесной чебер и полевой шалфей,
Блестя росой, в траве благоухали.
И думал я, в померкший глядя свод:
Куда меня так манит и влечет?
Проникнут весь блаженством был я новым,
Исполнен весь неведомых мне сил:
Чего в житейском натиске суровом
Не смел я ждать, чего я не просил
То свершено одним, казалось, словом,
И мнилось мне, что я лечу без крыл,
Перехожу, подъят природой всею,
В один порыв неудержимый с нею!
Но трезв был ум, и чужд ему восторг,
Надежды я не знал, ни опасенья...
Кто ж мощно так от них меня отторг,
Кто разрешил от тягости хотенья?

Со злобой дня души постыдный торг
Стал для меня без смысла и значенья,
Для всех тревог бесследно умер я
141

И ожил вновь в сознание бытия...
Тут пронеслось как в листьях дуновенье,
И как ответ послышалось мне:
Задачи то старинной разрешенье
В таинственном ты видишь полусне!
То творчества с покоем соглашенье,
То мысли пыл в душевной тишине... {29}

XII

Я не имел в виду излагать и разбирать все написанное А. Толстым; я хотел только напомнить в общих чертах существенное содержание его поэзии. О многом хорошем и превосходном (например, "Дракон", "Алхимик", трилогия {30}) я вовсе не упоминал, указывая только главное. При всем различии возможных эстетических оценок, никто не усомнится, я уверен, дать за поэта добрый ответ на вопрос, которым оканчивается одно из последних его стихотворений:

Всему настал покой, прими ж его и ты,
Певец, державший стяг во имя красоты!
Проверь, усердно ли ее святое семя
Ты в борозды бросал, оставленные всеми,
По совести ль тобой задача свершена,
И жатва дней твоих обильна иль скудна? {31}

Да! задача свершена им по совести, и содержание того, что им оставлено, важно и обильно. Как поэт, Толстой показал, что можно служить чистому искусству, не отделяя его от нравственного смысла жизни, - что это искусство должно быть чисто от всего низменного и ложного, но никак не от идейного содержания и жизненного значения. Как мыслитель, он дал в поэтической форме замечательно ясные и стройные выражения старому, но вечно истинному платоническо-христианскому мирозерцанию. Как патриот, он горячо стоял за то именно, что всего более нужно для нашей родины, и при этом - что еще важнее - он сам представлял собою то, за что стоял: живую силу свободной личности.

У русского народа есть важные добродетели преимущественно перед народами Запада, - это именно те, которые общи нам с близким нам Востоком: созерцательность, покорность, терпение. Этими добродетелями долго держалась наша духовная метрополия - Византия, однако они не могли спасти ее. Значит, одних этих восточных свойств и преимуществ самих по себе - мало. Они не могут уберечь великую нацию, если к ним не присоединится тот другой

142
элемент, который, конечно, не чужд России, как стране европейской и христианской, но по историческим условиям имел доселе у нас (как и в Византии) лишь слабое развитие, - я разумею сознание безусловного человеческого достоинства, принцип самостоятельной и самостоятельной личности. Поэт, которого мы теперь помянули, был одним из очень редких у нас носителей этого истинно человеческого жизненного начала, в развитии которого главное условие будущности каждого народа. И с этой стороны его произведения привлекательны и значительны своею искренностью: он стоял в них за то, что было глубоко заложено в нем самом, - так как он сам был сильною и свободною индивидуальностью, человеком внутреннего достоинства, чести и правды прежде всего. Эти качества не суть единственные добродетели, но без них все прочие стоят немного; без них отдельный человек есть только произведение одной внешней среды, а сама такая среда является стадом.

143

КОММЕНТАРИИ. ПОЭЗИЯ ГР. А. К. ТОЛСТОГО

Впервые напечатана в "Вестнике Европы", 1895, No 5, с. 237-259.

Соловьев лично не знал А. К. Толстого, но был дружен с его вдовой Софьей Андреевной, почасту бывал в толстовской усадьбе Пустынька под Петербургом, принимал участие в разборе бумаг поэта. После смерти С. А. Толстой в 1892 г. он настоятельно советовал ее племянникам Д. Н. Цертелеву и С. П. Хитрову подготовить к изданию письма А. К. Толстого. В 1893 г. он писал Цертелеву: "Относительно писем, писанных к Софье Андреевне, выбор был ее дело, и она его в значительной степени исполнила. Сколько раз мне самому пришлось быть при этом исполнительным орудием - таскать в камин пачки писем, и тут же графиня откладывала другие и вырезала из них ножницами кусочки, говоря, что эти письма нужно напечатать, но необходимо уничтожить некоторые собственные имена. Такие письма с вырезанными именами я не могу считать случайно сохранившимися: очевидно, они были прямо предназначены для печати самую графинею. И я полагаю, что С. П. (Хитрово) и ты достаточно были

Соловьев В. Поэзия графа А.К. Толстого filosoff.org
близки к обоим умершим, чтобы взять на себя докончить это дело в желательном смысле без нарушения их воли" (письма, 2, 267). В 1895 и 1897 гг. значительная часть эпистолярного наследия Толстого была напечатана в "Вестнике Европы" при содействии Соловьева. К поэзии А. К. Толстого Соловьев-критик впервые обратился в 1890 г. в статье "Иллюзия поэтического творчества".

{1} Из стихотворения "Поэт и толпа" (1828).

{2} Начало стихотворения Толстого "Господь, меня готовя к бою..." (1857).

{3} Стихотворение "Двух станов не боец, но только гость случайный..." (1858).

{4} Из стихотворения Пушкина "Поэт" (1827).

{5} Соловьев неточно цитирует строки из стихотворения Пушкина "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." (1836).

{6} Строки из стихотворения Пушкина "Герой" (1830).

393

{7} На стихотворение Пушкина "Дар напрасный, дар случайный..." (1828)

московский митрополит Филарет (Дроздов) написал стихотворное возражение "Не напрасно, не случайно...". Пушкинским ответом Филарету можно считать стихотворение "В часы забав иль праздной скуки..." (1830), строки которого приводит Соловьев.

{8} Из стихотворения М. Ю. Лермонтова "И скучно, и грустно" (1840).

{9} Из стихотворения Ф. И. Тютчева "29-е января 1837" (1837).

{10} Из стихотворения Толстого "Прозрачных облаков спокойное движенье..." (1874).

{11} Строки из стихотворения "Б. М. Маркевичу" (1856).

{12} Из стихотворения А. Толстого "Против течения" (1867).

{13} Строки из поэмы "Иоанн Дамаскин" (1858).

{14} Стрфы из стихотворения "Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре..." (1858).

{15} Иконоборчество возникло в Византии VIII – начала IX в. как религиозное и социально-политическое течение. Иконоборцы выступали против почитания икон и, шире, против искусства в целом. Иоанн Дамаскин, богослов и автор церковных песнопений, сурово осуждал истребление икон.

{16} Толстой, "тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель..." (1856).

{17} Из поэмы "Иоанн Дамаскин".

{18} Строки из баллады "Слепой" (1873).

{19} Строки из второй части драматической поэмы Толстого "Дон Жуан" (1859-1860).

{20} Ниже цитируются строки из пролога к "Дон Жуану". В 1883 г. в письме к В. П. Федорову Соловьев сетовал на то, что "русская изящная литература имеет мало общего с философией". Как исключение он называл толстовского "Дон Жуана" и трагедию А. Н. Майкова "Два мира" (письма, 3, 5).

{21} Соловьев полностью приводит стихотворение Толстого "Меня, во мраке и в пыли..." (1851 или 1852).

{22} Строки из стихотворения "О, не спеши туда, где жизнь светлей и чище..." (1858).

{23} Имеется в виду переправа армии персидского царя Ксеркса через Геллеспонт (Дарданеллы) в 480 г. во время греко-персидской войны.

{24} Речь идет о событиях франко-прусской войны 1870-1871 гг., приведших к падению режима Наполеона III и поражению Франции.

{25} В письме Толстого к Б. М. Маркевичу от 7 февраля 1869 г. есть следующие строки: "Ненависть моя к московскому периоду – некая идиосинкразия, и мне вовсе не требуется принимать какую-то позу, чтобы говорить – о нем то, что я говорю. Это не какая-нибудь тенденция, это – я сам".

{26} Ниже пространно цитируются (с отдельными неточностями) строфы баллады "Змей Тугарин" (1867). В письме к Стасюлевичу от апреля 1895 г.

394

Соловьев объяснял обилие выписок: "Вы, может быть, на минуту заподозрите меня в склонности легким способом увеличивать объем статьи, а чтобы избавить Вас от такой несправедливой мысли, предлагаю следующее объяснение: баллада эта есть место, куда прибит заключительный гвоздь статьи, между тем если ограничиться в ней только необходимыми для гвоздя пассажирами, то может выйти слишком сильно, единственный способ – цитировать ее если не целиком, то все-таки большими кусками" (письма, 4, 69).

{27} Ормузд и Ариман – общепринятые в европейских языках имена двух противоположных и противоборствующих начал в религии древних персов: божества, покровительствующего добрым силам, Ахурамазда (Ормузд) и его антипода и врага Анхра-Майнью (Ариман).

{28} Баллада "чужое горе" написана в 1866 г.

Соловьев В. Поэзия графа А.К. Толстого filosoff.org
{29} Стихотворение "Земля цвела. В лугу, весной одетом...", написанное А. К. Толстым в последний год жизни, Соловьев цитирует полностью за исключением двух последних строк.
{30} Имеются в виду поэмы "Дракон" (1875) и "Алхимик" (1867), а также драматическая трилогия "Смерть Иоанна Грозного", "Царь Федор Иоаннович", "Царь Борис", над которой Толстой работал в 1862-1869 гг.
{31} Из стихотворения "Прозрачных облаков спокойное движенье..." (1874).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, хостинг.
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!